

1. ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ.
2. [«ГОВОРЯ ПО ПРАВДЕ, ПОЛОЖЕНИЕ
РУССКОГО ЛИТЕРАТОРА...»].
3. [«ПОШЕХОНЬЕ ОТКЛИКНУЛОСЬ...»]

НЕЗАКОНЧЕННЫЕ СТАТЬИ ЩЕДРИНА 70—80-х гг. О ЛИТЕРАТУРЕ

Вступительная статья и примечания С. Макашина

ЩЕДРИН О ПОЛОЖЕНИИ И ЗАДАЧАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Первые два из публикуемых ниже текстов Щедрина — незаконченная очевидно статья «Приличествующее объяснение» и отрывок, начинающийся словами «Говоря по правде, положение русского литератора...», — связаны друг с другом хронологической и тематической близостью.

Написанные в конце 70-х или в начале 80-х годов они примыкают по своему содержанию к основному произведению этого периода — циклу «Круглый год» или, говоря точнее, к «литературным» главам этого цикла («Первое марта», «Первое августа» и др.). Разысканные материалы невелики по размеру. Тем не менее они вносят ряд дополнительных черт в характеристику теоретических взглядов Щедрина на положение и задачи современной ему литературы и печати (газетной). Кроме того оба отрывка являют собой новые и яркие свидетельства щедринской подлинно непримиримой борьбы с «уличной», т. е. оппортунистической, печатью, превратившейся в обстановке 70—80-х годов в «общественную прихвостницу» всех «темных сил» наступавшей контрреволюции. Этим определяется интерес найденных текстов и оправдывается их публикация на страницах «Литературного Наследства».

Третий документ — совсем небольшой отрывок, начинающийся словами (в вычерке) «Пошехонье откликнулось», относится к 1883—1885 гг. и представляет собой видимо черновой набросок незаконченной статьи, предназначавшейся для включения в отдельное издание сборника «Пошехонские рассказы». Этот сжатый, насыщенный содержанием отрывок также имеет право претендовать на внимание читателя как чрезвычайно сильное в своей краткости выступление Щедрина, посвященное разоблачению той обывательской «философии» общественно-политического индифферентизма, которая в обстановке реакции неизбежно «применительно к подлости» переходила в практику «страдательного ренегатства».

Таким образом вся публикация имеет одну общую тему, отчетливо проведенную во всех трех текстах. Эта тема — борьба с правительственной и общественной реакцией в различных ее проявлениях, в числе которых на первом месте значится и либерально-оппортунистическая пресса, охранительные функции которой для Щедрина несомненны. Тем не менее очевидно, что объединение данных документов в единый публикационный комплекс носит условный и, так сказать, предварительный характер. Все три отрывка еще «ищут себе места» среди известных произведений Щедрина или по крайней мере внутри их. Найти это место, т. е. «прикрепить» каждый публикуемый текст к какому-

либо существующему циклу или сборнику или же к конкретному замыслу, определить отношение отрывка к общей композиции целого и характер этого отношения (первоначальная редакция, вариант, набросок нового очерка и т. п.), возможно лишь в результате тщательного изучения всех, особенно черновых, рукописей Щедрина конца 70-х — начала 80-х годов. Эта работа еще впереди. Некоторые предварительные соображения по данному вопросу и аргументы, их подкрепляющие, приводятся ниже и в примечаниях.

В силу условного характера объединения воспроизводимых здесь документов необходимы пояснения к ним даются поэтому в дальнейшем отдельно для каждого из отрывков. Здесь остается лишь указать, что все три документа взяты из архива М. М. Стасюлевича в ИРЛИ Академии Наук, где они сохранились в черновых автографических рукописях (подготовлены для печати Н. В. Яковлевым). Две из них — содержащие текст «Приличествующего объяснения» и «Пошехонье отклинкулось» — до сих не появлялись в печати совсем; рукопись отрывка «Говоря по правде, положение русского литератора» была частично с большим количеством ошибок (в том числе и датировка: рукопись конца 70-х годов была отнесена к началу 60-х годов) опубликована В. Краинихфельдом в 1914 г.¹

* * *

После появления в печати «Круглого года» Щедрина один современный критик писал: «Когда будущий историк остановится перед литературой 70-х годов и, пораженный ее низким уровнем, широким разливом гнойных нечистот, захочет произнести над нею резкое слово осуждения, пусть он прочтет тогда сатиру Салтыкова и нет сомнения, что вместо обвинения он отнесется к ней с состраданием. Увы! даже сами обскуранты будут признаны заслуживающими снисхождения»².

Приведенные слова принадлежат Евгению Утину — адвокату и публицисту, видному либеральному деятелю, занимавшемуся на досуге и литературной критикой.

Щедрина называл Утин «отпетым хищником»³, «подлинным фарисеем»³ и не раз с презрительной иронией отзывался о нем в своих письмах. В 1881 г. Утин напечатал в либеральнейшем «Вестнике Европы» «подлинно фарисейскую» статью «об идеалах Щедрина». Политический смысл этой статьи, написанной в сочувственно-хвалебном тоне, заключался тем не менее в том, что в ней безмерно снижалось и опошлялось политическое содержание щедринской «борьбы за идеал», которая сводилась автором, по сути дела, к борьбе за лозунги буржуазного пошиба в обстановке обостренной реакции⁴.

Так по мнению Утина «Салтыков, зная хорошо пределы русской литературы, сторонится от изображения политического положения общества, обходит и экономическое, и юридическое и сосредоточивает свою сатиру на нравственном состоянии русского общества». Именно в «неустанной заботе о нравственном совершенствовании общества» заключается якобы сущность и итог всей деятельности Щедрина. Это позволяет Утину отнести сатирика к числу «тех талантов, которые двигали общество своими произведениями по пути прогресса, которые пробуждали добрые чувства, которые боролись за торжество справедливых начал над несправедливыми, света над тьмой, свободы над бесправием, любви над ненавистью».

Не ясно ли, что подлинный смысл этой размазистой декламации, произнесенной высоким тоном столичного адвоката, заключается в том, чтобы под ее «дружественным» покровом скрыть, замолчать самые острые политические стороны щедринской сатиры, которая в 70—80-х годах жестче всего была как раз по либералам. Публицисты либеральной печати 80-х годов вели себя по отношению к Щедрину так же, как и их будущие «наследники» — кадеты, о которых Ленин писал в 1912 г., что они «хватаются за фалды Щедрина», в то время как «Щедрин беспощадно издевается над либералами»⁵. Хватается за фалды Щедрина и Утин, когда пытается опереться на авторитет и имя Салтыкова затем, чтобы подкрепить ими свою классово-корыстную защиту литературы 70-х годов перед судом «будущего историка». Утин фальсифицирует важнейшие стороны щедринского творчества, его политический смысл, когда ограничивает сатиру Салтыкова рамками борьбы только за лозунги буржуазного либерализма: конституционализм, различные «свободы», в том числе свобода печати, и т. п. Щедрин был писателем револю-

ционной демократии. Проблема буржуазно-демократической революции — стержневая проблема всего его творчества. Конечно Щедрин боролся с самодержавием и крепостным правом, которое, кстати сказать, в отличие от многих либералов он не считал «уничтоженным» реформой 1861 г., и именно это признание и продолжение ожесточенной борьбы с крепостничеством и ставило Щедрина, несмотря на все его либеральные срывы, в лагерь революционной демократии. Он боролся с произволом царской бюрократии, порабощением печати и т. д. Но сражаясь за лозунги буржуазной революции, Щедрин вместе с тем, отражая историческое своеобразие развертывания сил русской крестьянской демократии в полукрепостнической стране, не менее если не более энергично бил своей отточенной сатирой и буржуазных либералов которые были против всякой революции за сделку с монархией. Щедрин ожесточенно боролся с либералами — дворянскими и буржуазными, неустанно разоблачал истинное политическое лицо российского либерализма на разных этапах его существования. Эту сторону деятельности Салтыкова Утин естественно замалчивает. Так например, признавая идейную нищету русской либеральной печати 70-х годов, ее «низкий уровень», Утин, производя насилие над щедринским текстом, ссылается на него как на тот источник, в котором читатель якобы может почерпнуть аргументы в пользу «сострадания», «снисхождения», а стало быть и примирения по отношению к этой литературе «гнилых нечистот» или, по щедринскому выражению, «ретирадной литературе». Смысл этого «приема» ясен. Утин пытается реабилитировать либеральную печать за счет перенесения всей ответственности за ее идейное и политическое убожество на объективно-исторические условия цензурного и политического режима. Об органических, внутренних пороках самой либеральной печати, о ее «классовом бессилии» и «принципиальной беспринципности», с такой ненавистью бичуемых Щедриным, Утин не упоминает ни слова. А между тем именно либерализму-пенкоснимательству предъявлял Щедрин тягчайшее обвинение в «общем понижении мыслительного уровня», в том, что «творчество заменено словосочинением; потребность страстной руководящей мысли заменена холодным пережевыванием азбучных истин». Щедрин спрашивает: «Каким горьким процессом дошла литература до современного несносного пенкоснимательного бормотания? Было ли тут насилие, или же измелъчание произошло вследствие непростительного самопроизвольного неряшества?» Ответ Щедрина заключен в его вопросе. Ответ этот важен для понимания отношений Щедрина к либеральной печати, к буржуазному либерализму вообще. «Что внешний гнет играл здесь немалую роль, — говорит сатирик, — в этом не может быть ни малейшего сомнения. Но признаюсь, — продолжает он, — в моих глазах едва ли не важнее вопрос: сопроваждалось ли это вынужденное измелъчание какой-нибудь попыткой ускользнуть от него? Была ли попытка оградить литературную самостоятельность от случайностей, или, по малой мере, обеспечить писателя на случай вынужденного бездействия? Вот на эти-то вопросы я и не берусь отвечать. Я могу только догадываться, что ежели литература даже по вопросам самосохранения неспособна притти к единомыслию, а способна только предаваться взаимным заушениям по поводу выеденного яйца, то ее вынужденное измелъчание равняется измелъчанию самопроизвольному»⁶.

Другими словами, Щедрин признает, что буржуазно-либеральная печать сама повинна в своем собственном идейном и политическом бессилии. Эта мысль настойчиво проводится через ряд щедринских статей. А Утин всячески стремится затушевать, сгладить «либералоедство» Щедрина, стремится самого его превратить в ограниченного либерала и даже эдакого страдающего гуманиста, готового оправдать при взгляде на цензурный мартиролог и цензурные уставы не только отдельные «угоднические грешки» иных органов печати, но и всю литературу политического приспособленчества, предательства и лютый реакции.

Но вот например, что в действительности говорил об этой литературе сам Щедрин в одном из своих писем к Анненкову:

«...Я — литератор до мозга костей, литератор преданный и беззаветный — и представьте себе я дожил до «Московских Ведомостей», «Нового Времени», дожил до того, что

даже за «Голос» берешься как за манну небесную. Думается: как эту же самую азбуку употреблять, какую употребляют «Московские Ведомости», как теми же словами говорить? Ведь все это, и азбука, и словарь — все поганое, провонялое, в нужнике рожденное. И вот, все-таки теми же буквами пишешь, какими пишет и Цитович, теми же словами выражаешься, какими выражаются Суворин, Маркевич, Катков!»⁷

Эти слова подлинно страстного презрения менее всего конечно учат «искусству примирения», о чем хлопочет Утин — теоретик «малых практических дел», практик оппортунизма.

Они были написаны в декабре 1879 г., то-есть в самой непосредственной хронологической близости с возникновением замысла написать «Приличествующее объяснение», — специальную статью о газете и литературе 70-х годов. Статья эта осталась видимо незавершенной: в ней нет подробного развития темы, нет логически замкнутого вывода, конечных формулировок тех тезисов, которые Щедрин взялся доказать. Но сохранившееся в отрывке начало дает вместе с тем достаточно четкое представление о содержании и целенаправленности этого незавершенного замысла. «Приличествующее объяснение» должно было явиться очередным выступлением сатирика в защиту принципов «убежденной литературы», в защиту идейной чистоты рядов этой литературы от вторгшейся сюда «улицы» и «уличной», т. е. оппортунистической и реакционной, печати.

«Улица» в сознании Щедрина — понятие большой сложности, выражающее в исторической обстановке 70-х годов чрезвычайное разнообразие и многочисленность формирующих реакцию сил. Давление этих сил на литературу явственно обозначилось уже в конце первой половины 60-х годов, когда окончательно выяснилась победа политических сил, проводивших в своих интересах «реформу», сохранившую на десятилетия пошатнувшееся было под напором крестьянской революции самодержавие. Щедрин с присущим ему политическим чутьем сразу же уловил и зафиксировал в ряде произведений (например в хрониках «Наша общественная жизнь» 1863—1864 гг.) «положение минуты». Отчетливо сознавая крепостнический исход «реформы» и контрреволюционный характер дворянского либерализма, скоро перешедшего от шумных оппозиционных фраз к фактическому примирению с реакцией, Щедрин в 60-е годы бил своей сатирой и публицистикой главным образом по помещикам-крепостникам, защищающей их интересы царской бюрократии и блокирующим с ними либералам, при чем под последними Щедрин разумеет в указанный период почти всегда представителей именно дворянского либерализма, заключившего компромисс с крепостниками на почве сохранения своего классового господства⁸. Защита Щедриным интересов молодой революционно-демократической литературы осуществляется поэтому в указанный период главным образом по линии нападения, по линии критики дворянской литературы, разоблачения величайшей бедности ее идейного содержания, «кастической замкнутости», ее исторической обреченности и неспособности поэтому «провидеть будущее».

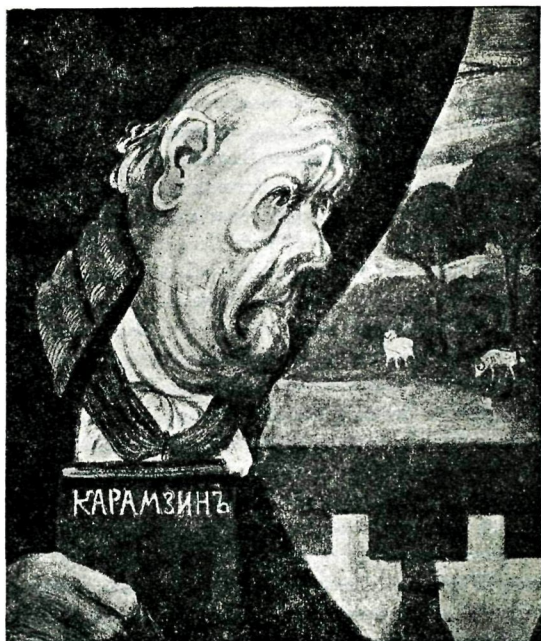
Разворот щедринской борьбы с буржуазным и мелкобуржуазным либерализмом в его многочисленных вариантах падает на 70—80-е годы. Предвидя неотвратимость наступления «эпохи чумазистого торжества», Щедрин вместе с тем не верил в ее относительно прогрессивную роль. Процесс капиталистического развития, протекавший в стране, общественный строй которой сохранял в себе бесчисленное количество помещичье-крепостнических и глубоко реакционных, оборачивался для современников самыми неприглядными сторонами: некультурностью, азиатчиной, низкими организационными и техническими премиями. Нарождение отечественной буржуазии, ее растущую активность Щедрин воспринимает преимущественно в свете «хищничества», появление различных чисто буржуазных институтов и профессий оценивается им как «явления и формы деятельности в такой же мере бесчестные, как и гнетущие», «в соседстве с ними как-то срамно становится жить» («Круглый год»). Среди этих явлений видное место в щедринской сатире начинает с 70-х годов отводиться вопросам массовой политической печати.

Русский капитализм начал интенсивно создавать свою прессу «по образу и подобию» европейского капитализма очень поздно, на глазах у Щедрина. Широкое развитие русская периодическая печать получила лишь после 60-х годов. Известные послабления, по крайней мере на первых порах, закон 6 апреля 1865 г. давал периодическим ежедневным

ГРУСТИЛОВ, ЭРАСТ АНДРЕЕВИЧ,
СТАТСКИЙ СОВЕТНИК, ДРУГ КА-
РАМЗИНА

«Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 г. Дань с откупа возвысил до 5.000 р. в год»

Рисунок А. Радакова из альбома «Портретная галерея градоначальников, в разное время в г. Глухов от высшего начальства поставленных» (1731—1826 по Щедрину и 1826—1907 не по Щедрину), П., 1907 г.



органам. В «освобожденной» печати одна за другой, как грибы после дождя, стали возникать ежедневные газеты частных издателей, тогда как в предыдущий, дореформенный, период русская газета почти исключительно исчерпывалась всевозможными казенными «ведомостями». Таким образом по источнику своего происхождения русская газета 70—80-х годов была чисто буржуазной. Но самодержавие, политическая реакция и цензурно-жандармская опека, преследовавшие даже ничтожные ростки политического протеста или недовольства, придали ей ряд специфических черт глубоко отрицательного порядка, которых не знали уже в это время газеты Запада.

Сопоставляя несколько позднее в «Мелочах жизни» европейскую газету с русской, Щедрин писал про первую: «... правильна или неправильна идея, полезно или вредно направление, которому служит данная газета, это вопрос особый; но несомненно, что и идея, и направление существуют, что они высказываются в каждой строке журнала, не смешиваясь ни с какими другими идеями и направлениями. Издатель знает, что он издает; подписчик знает, на что он подписывается». В условиях русской политической действительности этот порядок буржуазно-демократической прессы неприменим. Русские газеты Щедрин делит на две группы: «ликующие» и «трепещущие». «Содержание для первых представляет веселая диффамация и всех сортов балагурство, иногда впрочем заменяемые благонамеренным бешенством; содержанием для последних служит агонизирующая тоска в виду завтрашнего дня и ежедневная разработка шкурного вопроса»⁹.

Щедрин, для которого литература вообще, как и литература художественная в частности, была ценна постольку, поскольку она выражала собой известную убежденность и «являлась носительницей идеалов будущего», всегда с суровой и резкой непримиримостью относился ко всяким проявлениям безыдейности, ко всякого рода погрешностям в чистоте раз избранной линии. Щедрину — художнику, редактору, публицисту — в высшей степени было присуще то качество, неизменно руководствовавшее его литературной деятельностью и определявшее его писательский тип, которое принято теперь называть пафосом направления и которое сам сатирик называл «ежеминутной потребностью в страстной убежденности мысли».

Но русская буржуазная печать этих-то качеств никогда и не имела. В силу исторических условий своего развития она была рахитична со дня своего рождения. Политические позиции этой печати всегда были двойственными, межеумочными, отражая «классовое

бессилие либерализма» (Ленин), его боязнь самодержавного правительства, с одной стороны, революционной демократии — с другой. Лишь революция 1905 г. способствовала созданию более дифференцированной и политически яркой печати. В 70-е же годы настоячивость и непримиримость в проведении определенных взглядов и идей — а именно этих качеств требовал Салтыков от периодического органа — сатирик мог констатировать разве только у «Московских Ведомостей», отражавших мнение «диких помещиков» и черносотенцев, да у некоторых других подобных органов. Вся же остальная печать так называемого прогрессивного лагеря была сплошь оппортунистической. В 1872 г. Михайловский писал по поводу «Санкт-Петербургских Ведомостей» (у Щедрина — «Старейшая все-российская пенкоснимательница») о том, что либеральная печать сама не сознает, какому господину она служит. «В целом,— заключал Михайловский,— получается приличная, стыдливая девица, желающая нравиться и потому затягивающаяся в корсет. За кого она выйдет замуж? А за кого-нибудь непременно выйдет... Час ее пробьет и то или другое содержимое наполнит пустой сосуд»¹⁰. Михайловскому разумеется нетрудно было «быть пророком в своем отечестве». На протяжении 70-х годов и особенно начиная с балканской войны 1877 г. ряд либеральных газет не замедлил политически «самоопределяться», став по существу органами помещичьей и полицейской бюрократической реакции, ее послушными агентами, пресмыкающимися перед всяким изгибом правительственной политики. Наиболее типично, ярко, законченно картина такой эволюции отражена в «метаморфозе» пресловутого «Нового Времени». В статье 1912 г. «Карьера» Ленин писал по поводу смерти издателя газеты А. С. Суворина: «Либеральный журналист Суворин во время второго демократического подъема в России (конец 70-х гг. XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед властью имущими. Русско-турецкая война помогла этому карьеристу «найти себя» и найти свою дорожку лакея, награждаемого громадными доходами его газеты «Чего изволите?»

«Новое Время» Суворина на много десятилетий закрепило за собой это прозвище «Чего изволите?» Эта газета стала в России образцом продажных газет. «Нововременство» стало выражением, однозначным с понятиями: отступничество, ренегатство, подхалимство. «Новое Время» Суворина — образец бойкой торговли «на вынос и распивночно». Здесь торгуют всем, начиная от политических убеждений и кончая порнографическими объявлениями»¹¹.

Ленин пользуется здесь, как и во множестве других мест своей публицистики, выразительной кличкой «Чего изволите?», созданной Щедриным. И это разумеется не случайно. Салтыков мужественно, открыто презирал суворинскую газету и презрение свое неустанно пропагандировал. Еще в 1876 г. Щедрин понимал, что у «Нового Времени» не «осталось никаких союзников в литературе, кроме «Московских Ведомостей», да «Русского Мира», и писал Некрасову: «Ужасно хочется, чтоб эта гнусная газеточка хлопнула»¹². В дальнейшем, в ряде произведений 70—80-х годов. Щедрин неоднократно касался этого рептильного органа, присвоив ему еще одну кличку «Краса Демидрона».

Не менее враждебное отношение встречала со стороны Щедрина и вся остальная современная ему печать хотя и не ренегатствующая открыто, но откровенно оппортунистическая (в качестве образца такой газеты можно например указать «Голос» Краевского). Именно этой группе газет, их типовой характеристике, и должно было быть посвящено «Приличествующее объяснение».

Как и всегда у Щедрина, статья писалась по вполне конкретному поводу или, вернее, — намерение написать ее было вызвано вполне конкретной литературно-политической ситуацией. Для понимания статьи важно поэтому хронологическое приурочение самого замысла «Приличествующего объяснения» к концу 70-х годов или, точнее, к 1879 году. О нем так писал Щедрин, заканчивая цикл «Круглого года»: «Год приходит к концу, страшный год, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского. Даже в худшие эпохи ничего подобного этому злосчастному году летописи русской жизни едва ли представляли»¹³. Это был год террора только что организовавшейся «Народной воли», на героические удары которой перепуганное и растерявшееся правительство ответило испепеляющей реакцией, превратившей русскую политическую жизнь в подобие мертвой пустыни. В такой обстановке особенно трудное положение создалось разумеется

для печати. Но конечно не для всякой и не в одинаковой мере. Ясно например, что черносотенная пресса особых неудобств не испытывала, а наоборот, являясь одним из застрельщиков и пропагандистов реакции, ее эффективной силой, всемерно использовала «благоприятную» ситуацию для укрепления своих позиций и упрочения своего влияния.

С другой стороны, демократическая журналистика (например народнические «Отечественные Записки») хотя и страдала от цензурно-административных репрессий «физически» больше, чем вся остальная печать, но идейно и, можно сказать, морально она имела возможность с большим или меньшим достоинством противостоять наступавшей реакции. (Компромиссы были и здесь как неизбежное зло всякой оппозиционной деятельности в условиях царской России).

В наиболее трудном и фальшивом для своего политического достоинства положении находилась конечно буржуазно-либеральная, оппортунистическая пресса, т. е. численно наиболее крупная фракция русской печати конца 70-х годов. «Трезвая оппозиция» этой печати не шла дальше критики отдельных мелочей, сводясь по существу к пропаганде идей реформистского культурпрегерства. При этом однако каждая «уважающая себя» газета стремилась создать себе репутацию органа, критикующего правительство, вмешивающегося в политическую жизнь страны. Этим завоевывалось доверие (и материальные средства) фондирующего мелкобуржуазного обывателя, давался безопасный выход его недовольству. Русского либерала 70—80-х годов (существовавшего кстати сказать гораздо более подлого, чем либерал 50—60-х годов) Щедрин определял как «почтительно, но с независимым видом лающего человека». Эта характеристика в полной мере приложима и к либеральной печати. Признаком хорошего тона в ней было: «почтительность» по возможности скрывать от читателя, а «независимый вид», которым либеральный орган очень дорожил, выставлять на первый план. В знаменитом щедринском «Уставе Вольного Союза Пенкоснимателей» один из пунктов, гласящий «об обязанностях», так и формулируется: «По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренне же трепетать». В последующим же «объяснении» к этому пункту — блестящем образе умной и злой сатиры Щедрина на оппортунистическую печать — содержится между прочим такая рекомендация тактики либерального публициста-газетчика:

«Читатель любит, чтобы беседующий с ним публицист имел вид открытый и даже смелый; цензура, напротив, не любит этого. Каким образом пройти между Харибдой и Сциллой? Каким образом, с одной стороны, не растерять подписчиков, а с другой — не навлечь на себя кару закона? В этом именно и заключается задача современного пенкоснимателя. До сих пор единственное практическое решение этой задачи было таково: смелый вид иметь лишь по наружности, а внутренне трепетать. Соглашаясь вполне с правильностью такого решения, мы, с своей стороны, полагаем бы не лишним, для большей смелости, прибегать при этом к некоторым фразам, которые, по мнению нашему, могли бы с успехом послужить для достижения обеих высказанных выше целей. Фразы эти суть: «мы предупреждали», «мы предсказывали», «мы предвидели» и т. д. Примененные к делу пенкоснимательства эти фразы никакой в цензурном отношении опасности не представляют, а между тем публицисту придают вид бодрый и отчасти даже проникательный»¹⁴.

Но даже и эту трусливую тактику политического «лицемерия, двоедушия и лганья» осуществлять в обстановке полицейского террора было нелегко. Предостережения, воспрещения, запрещения розничной продажи спалились безостановочно, угрожая материальным интересам владельцев газет и вынуждая их откупаться от опасности окончательного запрещения тем «хамским усердием» (Ленин), теми отвратительными заявлениями верноподданнического и иного холоства, которые и дали Щедрину материал для создания его знаменитой клички «Чего изволите?»

Скупыми, слегка заостренными сатирическими фразами характеризует Щедрин положение современной ему газетной работы и саму газету. «Единственная оценка, которую имеет в виду газета и которой дорожит, — это успех в публике», говорит Щедрин, подчеркивая беспринципность и деячество буржуазной печати. Погоня за «пятакими» подписчиками — вот что определяет в каждый данный момент «направление» такого органа. Газета стала капиталистическим предприятием. Торгашеские принципы стали играть руководящую роль в газетном деле. Не только собственнику ее, но и участвующим в ней литера-

торам материально выгодно вести дело так, чтобы оно приносило коммерческий доход. Доход же газеты, как известно, непосредственно зависит от той или иной степени распространения ее через подписку или посредством розничной продажи. Аппарат царской цензуры довольно скоро сообразил, что одним из наиболее эффективных методов воздействия на «непослушные» органы повседневной печати будет такой, который бы подрывал их материальное благополучие. Уже в самые первые годы после цензурной реформы (закон от 6 апреля 1865 г.) система административного воздействия на печать была дополнена воспрещениями розничной продажи периодических изданий по приказу министра внутренних дел. Это нововведение, поразительно быстро привившееся и заменившее для газет почти все другие виды репрессии, оказывало разумеется самое деморализующее влияние на печать, «самым вредным образом действовало на независимость и достоинство газет». Не менее разлагающе действовала разумеется и начавшая прививаться с Запада система частных подкупов и субсидий. «Без содействия печати нынче ни одно промышленное предприятие шагу ступить не может», — констатирует Щедрин. — Вся возделывающая, производящая, эксплуатирующая и спекулирующая Россия раздробилась на бесчисленное множество клиентур, которые сами признали свою подсудность печати. Стало быть, речь идет только о качестве клиентуры. Кто покрупнее клиентуру захватит, тот и умница; но уж во всяком случае тут не фунтом икры пахнет, как во времена Булгарина»¹⁵.

Итак фатально колеблющиеся позиции либеральной печати, по классовой природе своей осужденной в русских исторических условиях на политическое пресмыкательство, зависимость ее от паука-капиталиста, наконец обстановка отчаянного порабощения печатного слова вообще в условиях полицейского террора последних лет царствования Александра II, — все это порождало «необходимость компромиссов», определяло вопиющую беспринципность «большой прессы», ее идейную несостоятельность и полную зависимость от бюрократического аппарата правящей клики.

Цензурные неистовства 1879 г. являлись суровым, но весьма показательным экзаменом на политическую самостоятельность, достоинство и зрелость этой прессы, которая с гордостью говорила: «печать-сила» и любила называть себя «органами честной, серьезной, независимой мысли».

Щедрин срывает эти украшающие покровы. На ряде примеров он показывает всю несостоятельность таких заявлений.

Щедрин поступает так: он ставит вопрос «об чем и как говорить?» и приводит далее несколько наиболее существенных моментов злободневной политической ситуации, требующих безусловного обсуждения в периодической печати. Но оказывается, что именно об этих самых существенных, волнующих общество вопросах ни одна газета по сути дела не может, а большею частью по соображениям шкурного интереса и не пытается говорить, ограничиваясь в лучшем случае трусливой, осторожной, сугубо фактической информацией, «или же если и разъясняет кой-что, то или совсем по-детски, или уж до того нелепо-злобно, что лучше бы уж и не касаться».

В качестве примеров тех явлений, которые «могут (читай: должны. — С. М.) служить предметом для поучительнейших исследований», Щедрин называет следующее: 1) доносительная, ультра-реакционная публицистика пресловутого Цитовича, пышно расцветшая как-раз в 1879 г., 2) общественный индифферентизм политически омертвевшего общества, 3) отношение к террористическим актам народовольцев 1879 г. и к ответным контрмерам правительства (аргументы в пользу такого понимания соответствующего места текста, написанного эзоповским языком, приведены мною в примечаниях к публикуемой статье) и наконец 4) вакханалия повсеместного хищничества, принявшего в эти годы грандиозные размеры.

«Все эти вопросы и великое множество других, — констатирует Щедрин, — так и остаются открытыми вопросами».

На этом обрывается рукопись «Приличествующего объяснения». Заключительных выводов нет. Их нетрудно однако сформулировать. Основные положения Щедрина сводятся к следующему: 1) современная газета (под ней, как мы видели, Щедрин разумеет прежде всего оппортунистическую газету и дейно несостоятельна, поли-

тически беспринципна и поэтому практически бессильна; 2) развитие и господство ежедневной газеты — фактор глубоко отрицательно воздействующий на развитие общественной мысли, критики и литературы, признак, свидетельствующий о понижении их идейного уровня и ценности; 3) газете противопоставляется традиционная для русской журналистики форма «толстого» журнала как единственная форма, позволяющая в силу ряда своих «качеств» до известной степени обеспечить идейную чистоту и достоинство как самой литературы, так и литературной профессии (под этими «качествами» в контексте статьи имеются в виду главным образом цензурные условия: «толстые» журналы энциклопедического содержания находились в несколько более благоприятных условиях, чем газеты, придирок к ним было меньше, так как распространялись ежемесячники среди довольно узкого круга читателей).

Щедрин таким образом отрицает и признает социально-враждебной тому делу, которому он служит, не только направление современной ему газетной печати, но и саму газету в ее так сказать специфике жанра, в отличие от других форм периодической печати. При оценке этого суждения Щедрина нельзя упускать из виду, что Щедрин, как указывалось, знал и мог знать в 1879 г., помимо реакционно-охранительных рептилий или полурептилий, лишь либерально-опportunистическую прессу. Разумеется, против таких газет Щедрин выступал и должен был выступать со всей силой своей горячей и страстной убежденности. Но других газет, по крайней мере легальных, еще не существовало. Это обстоятельство невольно способствовало тому, что борьба с политически враждебной газетой была перенесена и на самую газету вообще и привела к отрицанию этой формы периодической печати как некоего «низкого жанра», несоответствующего тем высоким задачам, которые должны стоять перед «убежденной литературой». Будучи ограничен своим историческим и, следует добавить, практическим опытом долголетнего сотрудника и редактора «Современника» и «Отечественных Записок» («толстые журналы»), Щедрин не мог конечно в полной мере оценить значение и преимущество газеты как острейшего орудия политической борьбы, как формы массовой политической печати, в отличие от толстого журнала, обращенного всегда к численно ограниченной аудитории. Известно, что в 70—80-х годах в условиях все более сгущавшейся реакции и всеобщего «понижения тона» Щедрин склонен был по методу противопоставления переоценивать дворянскую литературу 40-х годов, ставя ей в заслугу ее «идейную незамазанность», объясняемую тем, что она «не входила в столь тесное сопрякосновение с грязью жизни», как литература 70—80-х годов. Щедрин склонен был поэтому переоценивать и ту основную форму, в которой развивалась «идейная литература» 40-х годов, — толстый журнал, который «сам по себе» оберегал литературу от вторжения в нее «уличного элемента».

Второй публикуемый здесь отрывок, начинающийся словами: «Говоря по правде, положение русского литератора, не поддается точной датировке, но бесспорно относится к концу 70-х или к самому началу 80-х годов. И композиционно, и по содержанию отрывок распадается на две части. Первая из них, посвященная «Положению русского литератора», примыкает ближе всего к главе «Первое марта» из цикла «Круглый год» («К сожалению, я литератор...»), в частности к той знаменитой речи в защиту литературы, которую произносит автор в комиссии «государственных младенцев», обсуждающих вопрос «об искоренении литературы»¹⁶. Возможное даже, что эту часть отрывка следует рассматривать как отброшенный автором вариант указанной главы «Круглого года». Тогда документ «находит себе место» и дату (февраль 1879 г.).

Зато вторая часть отрывка воспринимается как начало развития совершенно самостоятельного, внутренне не связанного с предыдущим текстом очерка, посвященного изображению «баловня фортуны». С рассуждением «о положении русского литератора» очерк связан лишь внешне — «единством рукописи». Он написан (судя по почерку, одновременно) на том же листе автографа, что и текст «Говоря по правде...» Тематически эта часть отрывка чрезвычайно близко примыкает к другому вновь найденному щедринскому тексту, публикуемому в этой книге: «Когда страна или общество...» (см. стр. 313—327). И там и тут в совершенно одинаковом значении фигурирует «баловень фортуны» — образ, употребляемый Щедриным и раньше и позже, но в ином смысле¹⁷. Раз-

ница между обоими текстами — в методе разработки темы. Если отрывок «Когда страна или общество...» ставит и развивает тему о политическом сервильизме и «лести» в теоретико-публицистическом плане, то публикуемый нами текст перекладывает эту тему в план художественно-сатирического очерка на бытовом материале. Можно предполагать поэтому, что очерк о «баловне фортуны» и отрывок «Когда страна или общество...» являются частями какого-то единого неизвестного нам замысла Щедрина. Однако бесспорных аргументов в пользу такого предположения пока не имеется. Опасение допустить «компиляцию» текстов обусловило необходимость воспроизведения их в нашей «предварительной» публикации в том сочетании, которое сохранила нам рукопись Щедрина.

Первая часть публикуемого отрывка — рассуждение о положении русского литератора, представляет бесспорно не только историко-литературный, но и биографический интерес. Перед нами один из документов литературной биографии Щедрина. Отбросив всякие фикции рассказчика или вымышленного героя, Щедрин от своего имени высказывает здесь взгляд на положение русских литераторов, точнее говоря, на положение одной лишь фракции этого цеха — фракции «литераторов честных и убежденных», к которым в первую очередь принадлежал сам Щедрин, говоривший, что ему всю жизнь суждено было оставаться в «удрученном положении убежденного писателя».

Известно, какой исключительной и страстной привязанностью к литературе была проникнута вся деятельность Щедрина, с каким чувством ответственности нес Щедрин звание литератора, предпочитая ему «всякое иное». «Литератор до мозга костей, литератор преданный и беззаветный» Щедрин подвизался на литературно-общественной арене в ту, по словам Ленина, «проклятую пору эзоповских речей, литературного холопства, рабьего языка, идейного крепостничества», от которых «задыхалось все живое и свежее на Руси»¹⁸. Задыхался и Щедрин. Русская историческая жизнь середины XIX века с ее дегенеративным феодализмом и только что начавшим развиваться капитализмом лишала многих социальной точки опоры и заставляла искать те или иные фикции этой опоры. В полной мере не избег этой участи и Щедрин, прошедший трудный путь отхода от своего класса в лагерь идеологов крестьянской демократии, мужественно боровшийся за ее торжество с тем, чтобы в конце своей деятельности стать свидетелем тяжелого разгрома революционного движения (на том этапе, на каком застал его Щедрин). Эти моменты социально политической биографии Салтыкова, сложность его борьбы за социальное самоопределение не могли не найти себе отражения в системе его взглядов на литературу. Они осложнили эти, в целом трезво-реалистические, революционно-прогрессивные взгляды элементами идеализма, просветительства и этического проповедничества, которые особенно усилились в 80-е годы — годы реакции, годы идейного и организационного распада того движения, с которым был связан Салтыков. В этот период с пера Щедрина все чаще срываются горькие признания в том, что литература не смогла дать ему удовлетворения, но вместе с тем заслонила от него «даже широкую, не знающую берегов жизнь»... Глубокий трагизм слышится в этих словах. На протяжении всей своей писательской работы Салтыков ценил литературу именно за то, что видел в ней высшую форму социальной практики. Это предпочтение, отдаваемое литературе перед всякими иными формами общественной деятельности, страдало конечно преувеличением. Корни его уходят и в условия политического режима, под игом которого жил и действовал Щедрин. В стране помещичье-полицейского гнета и произвола литература была единственным органом выражения, доступным демократу, не уходившему в революционное подполье, а действовавшему в рамках официальной легальности. Но идеалистически переоценивая литературу, Щедрин не устал вместе с тем всячески подчеркивать необходимость включения ее в практику живой жизни, настойчиво требовал от литературы активного общественного действия.

В полном соответствии с этими воззрениями находились и взгляды Щедрина на литературную профессию. Если литература есть носительница наиболее исторически прогрессивных идеалов, если ее «высшая задача» заключается в подготовке «почвы будущего», в подготовке торжества тех форм жизни, которые хотя еще не составляют «наличного достояния человека», но рано или поздно «могут сделаться им», то ясно, какая огромная ответственность ложится на литератора — конкретного выразителя этих

ПФЕЙФЕР, БОГДАН БОГДАНОВИЧ,
ГВАРДИИ СЕРЖАНТ, ГОЛШТИН-
СКИЙ ВЫХОДЕЦ

«Ничего не свершив, сменен в 1762 г.
за невежество»

Рисунок А. Радакова из альбома
«Портретная галерея градоначаль-
ников, в разное время в г. Глухов
от высшего начальства поставлен-
ных (1731—1826 по Щедрину и
1826—1907 не по Щедрину)». П., 1907 г.



идей, призванного воплощать их в живое, пропагандирующее слово, обязанного быть подлинным вожаком общества на путях его переустройства. Такие задачи требовали от писателя помимо высокой идейной целеустремленности еще и умения активно вторгаться в жизнь, творить в ней конкретное дело, поверяя его конкретными результатами. Но этих-то качеств и лишена была в русских исторических условиях деятельность писателя, по крайней мере в применении к той группе, которая, подобно Некрасову и Щедрину, боролась с существующим порядком легальным путем. Писательская деятельность была как бы вынесена за скобки непосредственной общественно-политической жизни и борьбы, профессия литератора была по форме своей пассивной. Трагедией Щедрина было то, что, будучи по природе своей натурой активной, темпераментным практиком, общественником-организатором, он в гущу живой жизни мог вторгаться лишь пером. Сделать решительный шаг в сторону «практического служения идеалам» ему не было дано. Щедрин мучительно ощущал контраст между созданным им в теории типом «убежденного писателя» и тем положением его, которое существовало на практике, он мучился в противоречиях, которые в основе своей были противоречиями слова и дела, теории и практики. В публикуемом отрывке Щедрин прямо говорит об этом. Сравнивая литературную профессию с деятельностью ремесленника, он склонен отдать предпочтение последней и именно потому, что «всякий самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное», тогда как «русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых». Анализируя причины непрочного положения писателя в обществе, его социальную незащищенность, материальную необеспеченность, Щедрин ищет их в конкретных исторических условиях развития русской литературы. Основное положение Щедрина таково. В период исключительного господства дворянской культуры (хронологически определяемой с XVIII в. до 40-х годов) взгляд на литературу и писателя был иной. Дворянство занимало еще командующие позиции в экономической и политической жизни страны. Дворянская культура была сильна своим опытом, традицией, мастерством. Писатели-дворяне не чувствовали себя «изгоями», так как

крепко были связаны со своим классом. Они не были, как правило, освобождены от всех других обязанностей своего класса на том основании, что они писатели. Все они являлись кроме того помещиками, офицерами, чиновниками и т. д. Процесс экономического «вымывания» и политического отхода отдельных групп дворянства от своего класса еще не был сколько-нибудь силен. Отдельные отщепенцы конечно были, и с ними жестоко расправлялись. Но в основном писатели-дворяне честно служили интересам своего класса, а если некоторые из них и заблуждались, то на них, говорит Щедрин, «смотрели не как на «мерзавцев», но как на лиц, которые по окончании курса наук в кадетских корпусах получили вкус в заблуждениях, в согласии с чем «старались исправить виновных домашними мерами». В качестве примера такого домашнего воздействия, т. е. идейного давления на волю и творчество писателя. Щедрин приводит Пушкина и его стихотворение «Клеветникам России». Щедрин, так же как Писарев и Добролюбов, не только противник политического смысла этого произведения; оно показательно для него как результат властно воздействующих идейных внушений, которыми «исправлялись» политические грехи писателей-дворян перед своим классом. Однако ни административно-карательный аппарат самодержавия, ни общественное (дворянское) мнение до поры до времени не считали, что «название злоумышленника или мерзавца» есть наиболее русскому литератору свойственное. Эта пора наступила позднее, когда в литературе активно стал действовать разночинный отряд идеологов крестьянской демократии — Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Щедрин и др., когда литература перестала быть «убежищем сладких звуков и молитв» и превратилась в арену ожесточенной классовой борьбы. В публикуемой статье Щедрин предъявляет основные обвинения по поводу «жалкого» положения литературы и литератора не столько политическому режиму, сколько самому обществу, которому служит литература. Обществу литературы с практической жизнью привело к осуждению творчества, к подчинению его «утробным поползновениям уличной толпы». Однако дело тут не в самом «обществе». Последнее «всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы», оно «одно может вывести ее из оцепенелости» предыдущего дворянского периода, одно даст ей возможность перейти из области «страдательной безгласности» в область активного воздействия на жизнь. Отрицается таким образом не самое «общество», а те своеобразные и глубоко отрицательные формы его, при которых жизнь поступилась литературе не существенными своими интересами, а только «бесчисленной массой пустяков». «Пустяки» привело в литературу само общество, читатель. Последний «один смог бы укрепить положение литературы», но писателю нечего обращаться к нему за помощью. «Современный русский писатель жуловым и рассеян по лицу земли, как иудей. Он читает в одиночку: он ничего не ищет в литературе и ни с кем не делится прочитанным. Печатное русское слово не зажигает сердец и не рождает подвигов».

В конце 70-х годов Щедрин не мог питать никаких надежд на близкое торжество «новых форм жизни», а стало быть и на торжество «новой» литературы и «нового» читателя. Нахлынувшая «улица», символизировавшая для Щедрина, как уже говорилось, общественную реакцию, грозила свести на-нет все ростки этой новой демократической литературы, которую с такой заботой и трудом растил Щедрин в своем журнале. Положение «убежденного литератора» в этой гнилой атмосфере идейного холопства конца 70-х, начала 80-х годов, когда все кругом мельчало, предательствовало и «понижало тон», нельзя было не признать глубоко трагичным. В эти годы Щедрин был близок к отчаянию. Оно звучит и в публикуемом отрывке.

Последний из публикуемых документов, отрывок «Пошехонье откликнулось», следует рассматривать как черновой и незаконченный набросок текста, предназначавшегося несомненно для включения в сборник 1885 г. «Пошехонские рассказы». Текст отрывка тематически близок к последней, 6-й главе сборника, названной в подзаголовке «Фантастическое отрезвление». Судя по первым вычеркнутым строкам рукописи (они взяты в квадратные скобки), можно предполагать, что непосредственным толчком к написанию публикуемого текста явилось действительно какое-то читательское письмо, полученное Щедриным от «обывателя одного из многочисленных русских Пошехоньев». Таких писем Щедрин получал много²¹. Допустимо поэтому предположение, что отрывок

представляет собой незаконченный набросок самостоятельной главы «Пошехонских рассказов» (заключительной), своего рода *post-scriptum* к книге. Но не исключена и возможность того, что перед нами отрывок первоначальной черновой редакции «Фантастического отрезвления». Текстуальных совпадений Впрочем нет, тематическое — налицо²². Решить этот вопрос можно лишь путем обследования всего сохранившегося рукописного фонда сборника.

«Философия» Пошехонья, уловленная и зафиксированная в этом небольшом отрывке, ярко воссоздает историческую обстановку начала 80-х годов.

После 1 марта 1881 г. русское революционное движение находилось на самом трудном критическом этапе своего развития. Невольничество было разгромлено. Пролетариат же не был еще настолько силен, чтобы выступить на русскую историческую арену с развернутой политической борьбой. Распоясавшаяся реакция справляла свою победу. Виселицы и тюрьмы выхватывали лучших революционеров. Шла сплошная измена среди буржуазной и народнической интеллигенции, бывшей недавно демократической и даже революционной и повернувшей теперь вспять от революции. Все возрастающим успехом стали пользоваться те политические программы, в которых практика революционной борьбы заменялась теориями постепенства, малых дел, самоусовершенствования, реабилитации здравого смысла и т. д. Испуганный обыватель, рядовой пошехонец, создавал в эти годы свою философию, которая не могла быть ничем иным, как «философией подлой действительности». Эту философию и задумал разоблачить Щедрин.

По сути дела в этом маленьком отрывке Щедрин ставит кардинальный вопрос о переустройстве общества и о методах этого переустройства. Щедрин издевается над трусливой и пассивной утопической мудростью пошехонцев, гласящей, что «в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится». Это философия «премудрого пискаря», обывателя. Щедрин отвергает ее и требует другой, революционной, философии, той, которая «тревожит», «мешает», вызывает на размышление и борьбу. Щедрин, как известно, и сам мучительно ощущал свой отрыв от революционной практики, ту отделенность от нее, которая в значительной мере определялась глубокими и органическими противоречиями всего движения крестьянской революции, в котором сатирик принимал участие «своей литературной деятельностью». Сознание разрыва между теорией и практикой глубоко отразилось на всем творчестве Щедрина, обусловив в нем те нотки пессимизма и отчаяния, которые слышатся во многих его произведениях 80-х годов. Страстной взволнованностью проникнута и эта «инвектива» против залезшего в нору и дрожащего там обывателя, который «не вступает на путь действительной измены, но ренегатствует страдательно», лишь только в воздухе потянет откуда-нибудь «гарь» реакции.

Щедрин был непримиримым врагом всякого соглашательства, угодничества и оппортунизма в политике. Известно, что именно эту сторону ценили и ценят больше всего большевики в творчестве Щедрина. У нас еще существует много всяких разновидностей оппортунизма, и острота щедринской сатиры не притупилась и для борьбы с ними. Издеваясь над современным ему обывателем от политики, твердо верящим в «приход добра и посрамление зла», Щедрин писал: «По всему однакож видно, что метаморфоза посрамления зла совершится как будто сама собой. Пошехонцы будут сидеть у моря и ждать погоды, а в это время, где-то «там» будет вертеться какое-то колесо. Вертится, вертится, и вдруг — трах! — приехали.

Самая это покойная философия».

Эта художественно яркая, социально-насыщенная «формула обвинения» политического оппортунизма невольно вызывает одну параллель. Тов. Сталин в своем докладе на XVII партсъезде с убийственной иронией разоблачал тех товарищей, которые считали, что раз мы идем к бесклассовому обществу, то значит можно ослабить классовую борьбу, ослабить диктатуру пролетариата и вообще покончить с государством, которое, мол, все равно должно отмереть в ближайшее время; «и они, — говорил т. Сталин, — приходили в телячий восторг в ожидании того, что скоро не будет никаких классов, — значит, не будет классовой борьбы, — значит, не будет забот и тревог, — значит, можно сложить оружие и пойти на боковую — спать в ожидании пришествия бесклассового общества»²³.

Тов. Сталин блестящим, сатирически заостренным образом разоблачил здесь оппортунистические надежды и настроение современных обывателей от политики. Тов. Сталин указал на необходимость самой решительной борьбы с такими «настроениями». В этой борьбе щедрина сатира с ее силой и страстностью бичевания всяческого оппортунизма призвана и в наши дни сыграть активную роль.

С. Макашин

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. Вл. Кранихфельд, Литераторы и читатели (по неизданным рукописям Щедрина). «Утро Юга», Ростов н/Д., 1914, 27 апреля, № 97, стр. 3. Отрывок, опубликованный здесь, дан под произвольным заглавием «О русском литераторе».

² Утин, Е., Сатира Щедрина. «Вестник Европы», СПб., 1881. № 1, стр. 308—327.

³ Письмо к А. Л. Боровиковскому от 26 августа 1885 г. См. «М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизданные письма». Изд. «Academia», М.—Л., 1932, стр. 233 и неизданное письмо к Н. А. Белоголовому от 16 декабря 1882 г. (Частное собрание Е. Ф. Никитиной. Москва).

⁴ Известно, что Щедрин немедленно по получении статьи ответил автору полемическим письмом, начинавшимся с иронического указания, что основной вопрос статьи — «вопрос об «идеалах» не выяснился». Письмо впервые опубликовано в сборнике статей Е. Утина. «Из литературной жизни», т. I, М., 1896. См. также в заметке «Щедрин о назначении своей сатиры. Забытое письмо Салтыкова». — «Литературная газета», М., 1932, 5 июля, № 30 (199), стр. 3.

⁵ Ленин, В. И., Еще один поход на демократию. Сочинения, 3-е изд. т. XVI, стр. 132.

⁶ «Дневник провинциала в Петербурге». Щедрин. Сочинения. ГИЗ, т. III, стр. 145.

⁷ Письмо к П. В. Анненкову от 10 декабря 1879 г. См. «М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма». Л., 1924, стр. 174.

⁸ См. напр. рассуждения Щедрина о «помещиках добрых и умных» (либералы) и «помещиках глупых и злых» (крепостники) в статье «Современные призраки» 1863 г., впервые опубликованной в этой же книге.

⁹ Очерк «Газетчик». Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. V, стр. 282.

¹⁰ Михайловский, Н. К., «Литературные и журнальные заметки». — «Отеч. Зап.» 1872 г., № 5, отд. II, стр. 63.

¹¹ Ленин, В. И., Карьера. Сочинения, 3-е изд., т. XXX, стр. 192—198.

¹² «М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма». Л., 1924/25, стр. 150.

¹³ Глава «Первое ноября» из «Круглого года». Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. IX, стр. 739.

¹⁴ «Дневник провинциала в Петербурге», глава V. Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. VIII, стр. 174.

¹⁵ «Пестрые письма», глава V. Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. VI, стр. 397.

¹⁶ Близость публикуемого текста с главой «Первое марта» из «Круглого года» обнаруживается не только в общности темы, но и в ряде характерных деталей. Укажем например на следующие совпадения и параллели: использование риторических приемов обращения к читателю («Почему дошла? — а потому, милостивые государи...»), далее — наличие проводимого в обоих текстах сравнения между положением, которое занимают в обществе «литераторы действующие», и положением, которое занимали в нем «литераторы бывшие», под которыми разумеются представители классической дворянской литературы, в частности Державин, Карамзин и Пушкин (в тексте «Круглого года» называются имена, в нашем тексте — лишь произведения: «Ода на взятие Хотина», «Бедная Лиза» и «Клеветникам России»).

¹⁷ Ср. напр.: 1) «Признаки времени», глава «Литературное положение», где сам литератор называется «баловнем фортуны»; 2) «Господа ташкентцы» — параллель первая и параллель четвертая из «Ташкентцев приготовительного класса»; 3) очерк «Счастливцев» из «Мелочей жизни» и др.

¹⁸ Ленин, В. И., Партийная организация и партийная литература. Сочинения, т. VIII, стр. 386.

¹⁹ «Приключение с Крамольниковым». Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. VI, стр. 203.

²⁰ «Первое ноября» из «Круглого года». Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. IX, стр. 735.

²¹ Образцы их см. в следующем полутоме настоящего сборника в публикации Н. В. Яковлева «Письма читателей к Щедрину».

²² Ср. напр. в обоих текстах аналогичное развитие просветительски-утопического тезиса о собственном всем людям стремлении к добру.

²³ Цитируем по стенографическому отчету «Правды» от 28 января 1934 г.

1. ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ¹

Физиономия нашей литературы за последние пятнадцать лет² значительно изменилась, и, надо сказать правду, изменилась в смысле не особенно благоприятном для развития общественной мысли. Значение больших (ежемесячных) журналов упало, а вместо них, в роли руководителей общественного мнения, выступили ежедневные газеты. Вместе с этим, литературная сила, и без того не весьма обильная, раздробилась и измельчала, а отношения литературы к вопросам, занимающим общество, сделались поверхностными, тревожными, непоследовательными. В ежемесячном журнале легко углядеть всякую погрешность относительно высказанных однажды принципов; в ежедневной газете это почти невозможно. Газету до такой степени захватывают мелочи дня, что даже самый добросовестный состав редакции не может от времени до времени не впадать в противоречия, а что касается до деятелей прямо недобросовестных, то им тут широкое поле. Какая возможность изо дня в день следить за этою непрерывающеюся беседою о всем вообще и о каждом предмете в особенности? И какая надобность следить? Кому нужна газета на другой день или даже через час по прочтении? Газету можно уподобить блинам, которыми пользуются пока они горячи; как только блин остыл, это, по выражению казанских татар, уже не блин, а «погана лепешка». Читатель знает это и относится к газетной неустойчивости вполне снисходительно. Во-первых, он понимает, что газета не претендует на деятельность строго литературную, а представляет собой лишь образец литературного проворства; во-вторых, ему не безызвестно, что каждый день может привести за собой такой вопрос, о котором человеку неподъяремному и думать-то противно, и по поводу которого подъяремая газета *должна*, во что бы то ни стало, высказаться, тогда как ежемесячный журнал может и промолчать.

Господство газеты упразднило и критику. Газетный писатель знает хорошо, что его деятельность эфемерная, что он работает только на один час, и потому совершенно равнодушен к отзывам о нем критики. Весь погруженный в срочную работу, он уже позабыл о вчерашней «поганой лепешке» и думает лишь о том, как бы половчее засемить завтрашнюю «поганую лепешку». Для чего ему критика? да и что может она о нем сказать? что вот такой-то X, и вот о таком-то предмете, соврал — позвольте, когда ж это было? неделю тому назад! помилуйте! с тех пор он об том же предмете успел уже два раза еще соврать, а впереди дней еще много — какая же возможность уследить за ним киртике! Да и стоит ли? Но это явления до того ловкие, что их даже зашипнуть нельзя. И притом, кто этот X? почему не Y или Z? Кто тут ответственное лицо? Редактор? Но ведь понятное дело, что редактор не может же сочинять всю газету, и в большинстве случаев он только попуститель. За редактором скрывается целая фаланга деятелей, из которых каждый обладает особой физиономией. Вот этих-то писателей и нет, и никакая критика не уловит их. Критика знает Тургеневых, Островских, Толстых, Добролюбовых, Писаревых, но для нее вполне немислимо интересоваться теми микроскопическими величинами, на обязанности которых лежит забота компоновать газетный набор. Если б даже эти микроскопические величины подписывали под статьями свои имена — все-таки они не перестанут быть иксами, игреками и зетами, потому что их деятельность настолько разбросана и представляется в виде такого измельченного порошка, что нет никакой возможности собрать ее в один фокус. Это делает газетных деятелей, в большинстве случаев, совершенно безответственными, а безответственность, в свою очередь, производит такое равнодушие к отзывам кри-

тики, что иному, как говорится, хоть кол на голове теши, он все-таки не поймет никаких резонов.

Единственная оценка, которую имеет в виду газета, и которой дорожит, — это успех в публике. В последние пятнадцать лет успех этот в значительной мере обуславливается розничною продажей, что, разумеется, еще больше подстрекает проворство газетчиков. Речь идет уже не о том, чтобы обсуждать насущные вопросы добросовестно и всесторонне, а только, чтоб «подать горячо». Да и не в розничной продаже главное — отчего же и не сделать газеты доступными для возможно большей массы читателей — а в том, что с представлением о розничной продаже сопрягается представление об известной карательной мере, и это несомненно самым вредным образом действует на независимость и достоинство газет. Все мы под богом ходим, но газеты ходят сугубо. Ужасное это чувство сидеть в своей лавчонке и видеть, как из соседней лавочки ежедневно на шесть на семь [лишних?] (нрзб.) пятачков вас переторговывают. Икс! Игрек! Зет! что вы носы повесили! Живо беритесь за перья и пишите такое, чтоб жарко было. И берутся за перья и пишут. Конечно, было бы несправедливо сказать, что это явление обыденное и неизбежное, но что обладание правом розничной продажи или неимение этого права должно влиять на тон газеты — это несомненно! Откиньте в сторону пятачки, все-таки перед вами останется тот факт, что всякая газета фаталистически должна заботиться о том, чтобы круг ее читателей не был искусственно сокращаем. А это порождает необходимость компромиссов*.

Таким образом, употребляя все усилия, чтоб распространить круг своих читателей, газетная печать постоянно видит себя между двух огней. Во-первых, ей нужно удержать за собой розничную продажу, которая дает газете возможность проникнуть в такие закоулки, куда журнал, пользующийся лишь годовыми подписчиками, не может и мечтать проникнуть; во-вторых, ей необходимо оживлять столбцы, потому что иначе ее не будут читать. Очень часто, эти две вещи несовместимы, и надо иметь поистине мудрость змеи, чтобы поймать этих двух зайцев. Право на розничную продажу требует сдержанности и хорошего поведения, что, при известной дозе добросовестности, угрожает газете бесцветностью. Напротив, потребность уловить читателя требует «горяченьких». Как согласовать это противоречие? Является вопрос: об чем и как говорить?

Вопрос на первый взгляд очень странный. Кажется, потребна лишь самая небольшая доля внимания, чтобы всякого рода задачи явились во множестве. Все в современной жизни русского общества в высшей степени интересно, все может служить предметом для поучительнейших исследований. Возьмите, например, хоть такое явление, как профессор Цитович³. Что могло породить его? Какие горькие условия могли вынудить этого «апостола науки» взяться за ремесло городского, ремесло несомненно полезное, но все-таки не имеющее с наукой ничего общего? Что заставило этого жреца правды и справедливости обогатить нашу фразеологию целой массой хлестких, образных, но вполне бесчестных выражений? Ужели не любопытно, что на место Грановских, Коюковых, Кудрявцевых, Пироговых выступают такие ратоборцы, как Цитович, Богдановский⁴ (Одесский). Цион⁵ и проч.? Разве не изумительно, что читатель, знающий, например, отношения Шевырева и Никиты Крылова к Грановскому и

* На левой свободной половине страницы против этих двух абзацев (конца первого и начала второго) написано карандашом:

«В погоне за читателем и будучи в необходимости оживлять столбцы газеты вступают в полемику».

«Процесс литературного мышления совсем иной, нежели процесс мышления столоничальнического».

другим и столько раз негодовавший по поводу этих отношений, теперь восклицает: о Шевырев! о Никита Крылов! о благороднейшие! о скромнейшие! И что же! Разве это явление разъяснено? Ничуть не бывало. Все дело ограничилось выписками из брошюр Цитовича и отчасти похвальными, отчасти же гневными отзывами по их поводу. Но что породило г. Цитовича — это так и осталось покрытым мраком неизвестности, а так как Цитович «прейдет», не оставив за собой ничего (*ex nihilo nihil*), то потомство будет в этом явлении видеть только неприглядную случайность, тогда как, в сущности, это один из чудовищнейших отпрысков, совершенно достаточный для того, чтобы характеризовать время, в которое он появился, словами Нибура: «в это тяжелое время злое начало в человеке пришло к полному и спокойному сознанию самого себя» (Нибур. Характеристика персов во время войн Александра Македонского. См. соч. Грановского, т. II, стр. 119).

Или другое явление: всеобщее, повсеместное равнодушие к общественным интересам — разве оно разъяснено? Конечно, в любой газете вы встретите упреки по адресу русского общества в равнодушии к своим собственным делам, но разве такое явление излечивается упреками? Разве интерес к общему делу предписывается? Разве можно убедить человека, сказав ему: ты не лишен способностей, имеешь силу, ум — иди и балотируйся в земские гласные! Ведь ежели он наделен этими дарами природы, то он и сам должен понимать, что лучше ежели общественное дело стоит прочно, и что, следовательно, содействовать этой прочности не только обязательно, но интересно, приятно. Несмотря на это, он однакожь предпочитает жаться к стороне, ничто его не влечет, ни на что он не возлагает надежд и на самого себя смотрит, как на отрицательную величину. Наконец, ежели он сдается все жь на убеждения и кидается в омут так называемых общественных интересов, то в самом скором времени он возвращается оттуда еще более обескураженный, почти ошеломленный и хорошо еще ежели еще не заподозренный. Разве все это разъяснено?

Еще явление. В самые скорбные исторические минуты⁶, когда сердце всякого добропорядочного и честного человека должно болеть и истекать кровью — у нас, наоборот, просыпаются самые злые инстинкты и изю всех щелей выползают самые вредные и пагубные элементы. И чем печальнее факт, тем сильнее дикая радость этих человеконенавистников. Они мстят за свое недавнее отчуждение, они угрожают в одну минуту стереть всякий след успеха, добытого ценою долгих усилий... Разъяснила ли русская печать это явление? Протестовала ли она против него?

Затем следуют: казнокрадство, чуть не ежечасное расхищение общественных сумм, банкротство, отсутствие всякого понятия о самой формальной честности и это бесконечное, беззаветное поклонение Ваалу, одному Ваалу. Червонные валеты⁷, Юханцевы⁸, Гулак-Артемовские⁹, Ландсберги¹⁰ — вот истинные герои современности, вот те, которым жилось хорошо, которым по крайней мере есть чем помянуть прошлое! Правда, что рука прокурора достала их, но разве она достигла каких-нибудь результатов, покарвав их? Разве что-нибудь предупредила? Ведь не имена важны, а факты. Что породило эти факты? Откуда эта повсюдная алчность к наслаждениям наиболее грубого свойства, сопоставленная с повсюдным же равнодушием к общественному делу? Разъяснено ли все это?

Увы! все эти вопросы и великое множество других так и остаются открытыми вопросами. Печать констатирует их существование, но дальше не идет, или же если и разъясняет кой-что, то или совсем по-детски, или уж до того нелепо-злостно, что лучше бы уж и не касаться.

2. [ОТРЫВОК: «ГОВОРЯ ПО ПРАВДЕ, ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТОРА...»]

Говоря по правде, положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное; русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых. А затем уже и тем, как бы между страхами что-нибудь шепнуть. Существует, правда, три-четыре личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково цествуемые, но это уж так сказать идола. А большинству живется ужасно скверно, и не столько в материальном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу.

Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретиранных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житься отлично.

И это воздушное житие повелось лишь с недавнего времени, именно с тех пор, как литература, повидимому, сделалась в полном смысле слова настоятельной потребностью общества, когда она начала постепенно проникать и в массы. Казалось бы, что тут-то и масляница русскому литератору, сумевшему проползти даже «в хижину бедную, богом хранимую», а не наоборот. Читают ли его в хижине, богом хранимой, — этого он доподлинно еще не знает, но в собственной нехранимой квартире он получает только щелчки.

Прежде, говорят, было не так. Прежде на литературную профессию смотрели как на преизящное для ума и сердца отдохновение, а в литературе видели гордость и украшение. Разумеется, однакож, до поры, до времени... А то как же!

А нынче — щелчки, щелчки и щелчки! и кому щелчки? — Человеку, который никаких других прав не добивается, кроме права мыслить, права отыскивать истину!.. Поистине, нет слов, чтобы выразить, до какой степени это подло!

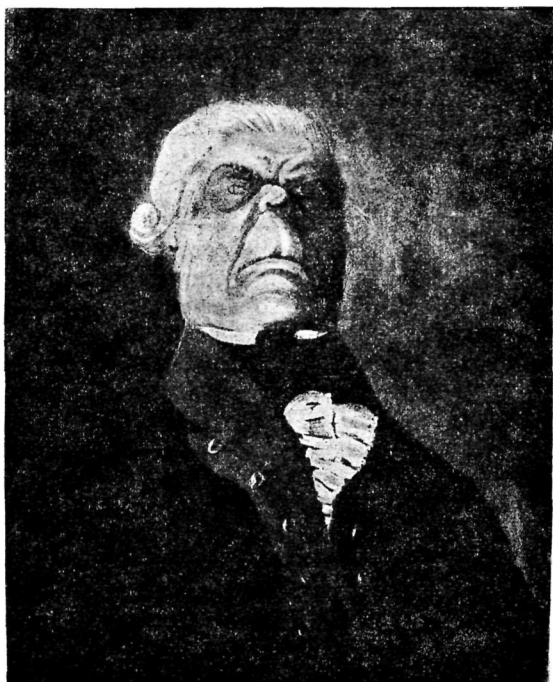
Главную причину того, что прежний взгляд на литературу был несколько иной, следует искать в том, что литературная профессия считалась и была профессией исключительно дворянской. Сами министры бряцали, а за ними следом безобразно бряцали и другие, хотя не столь высокопоставленные, но не менее гордые своим дворянским происхождением. Так что, когда явился мужичок Ломоносов и тоже изъявил желание бряцать, то и его поскорей произвели в дворяне, дабы не произошло в общем хоре какофонии. Ну, а дворянин ведь свой брат и потому пустить ему в догонку, например, «мерзавца» или «злоумышленника» не всегда-таки удобно. У него есть бабушки, тетеньки, кузины, котоорые могут обидеться за родственника. А потому, если некоторые из Ломоносовых и заблуждались, то на них смотрели не как на «мерзавцев», но как на лиц, которые по окончании курса наук в кадетских корпусах получили вкус к заблуждениям. И в согласность с сим старались исправить виновных домашними мерами; говорили: ну, что тебе стоит «клеветникам России» написать? И это было до крови больно, но так как тут же кстати на том же настаивали все бабушки, тетеньки и кузины, то делать нечего, приходилось брать в руку цевницу и бряцать.

Некоторый перелом во взгляде на литературную профессию последовал в самом конце сороковых годов. В это время на Западе совершилось столько неключимостей, что невольно приходило на ум, не заразилась ли

НЕГОДЯЕВ, ОНУФРИЙ ИВАНОВИЧ,
БЫВШИЙ ГАТЧИНСКИЙ ИСТОП-
НИК

«Размостил вымощенные предместьями его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 г. за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгановым (знаменитый в свое время триумvirат) насчет конституции, в чем его и оправдали впоследствии»

Рисунок А. Радакова из альбома «Портретная галерея градоначальников, в разное время в г. Глухов от высшего начальства поставленных. (1731—1826 по Щедрину и 1826—1907 не по Щедрину)». П., 1907 г.



ими и русская литература. Оказалось, что заразилась. Но так как за всем тем и тогда литература продолжала быть профессией чисто дворянской (за малыми исключениями), то дело ограничилось только тем, что поставлены были серьезные внешние препоны собственно для вредных влияний, но все-таки никому не приходило на мысль, что название злоумышленника или мерзавца есть наиболее русскому литератору свойственное. И литература наша, к чести ее, поняла, что ей нужно оправдаться и удержаться за собою свой прежний рыцарский характер.

Большим подспорьем для нее было то, что она сразу получила готовую тему, которая помогла ей обелить себя. В то время у чародея Излера, на минерашках, в большом ходу была песня о том, как Ванька Таньку полюбил. Вот эта-то песня и показала путь, по которому следовало идти.

Литература с жадностью накинута на эту тему и страстно разрабатывала ее в течение целых восьми лет. Какое разнообразие типов, какое богатство содержания извлекла она из этого, повидимому, обнаженного факта — это в настоящее время почти непостижимо. Все произведения ума человеческого этого короткого периода были написаны на эту тему, и все они были непохожи друг на друга. Коли хотите, это был разврат, но, во-первых, разврат благонадежный и, во-вторых, доказывающий, что человеческая мысль, даже доведенная до одурения, в самой этой дурости найдет возможность вывернуться и поддразнить: а я все-таки жива! Да, она и осталась настолько жива, что дошла даже до нас. Почему дошла? — а потому, милостивые государи, что несмотря на общее затмение все-таки никому не приходило на мысль, что тут главное-то преступление литературы составляет существование ее, то-есть пребывание в живых. И даже тогда, когда к концу этого периода Ванька прихотливо потребовал конституции, то и тут поняли, что речь идет не о настоящей конституции, а только о каком-то новом любовном приеме, который ловко пушцен Ванькой в ход, дабы заставить Таньку сдаться на капитуляцию.

Но в конце пятидесятих годов дворяне оплошали, а в то же время в

литературу в бесчисленном множестве вторгся разночинный элемент. Уничтожение крепостного права сказалось и тут: с осуществлением его устранился досуг. А с исчезновением досуга исчезла и возможность культивировать «благородные» идеи. Даже выпренняя сторона эмансипации, та, ожидание которой заставляло трепетать и волноваться целые поколения «мечтателей», — и та немедленно уступила место так называемому «трезвенному» отношению к делу. Не «благородные» мысли требовались, а мысли, указывающие на практический выход, открывавшие двери в область компромиссов. Словом сказать, литературную арену заполонили мысли практические, будничные, между которыми было достаточно полезных, но множество было и положительно подлых. И по какому-то необъяснимому недоразумению, полезные мысли оказались «опасными», а подлые — благонадежными... хотя все-таки подлыми. Или, говоря другими словами, никто из новых литературных деятелей никакого «дворянскому званию свойственного» парения не предьявил.

Отсюда прискорбное смешение «опасного» и «подлого», отсюда безразличное применение того и другого эпитета, смотря по требованиям темперамента. Литература уже перестала служить убежищем «сладких звуков и молитв» и сделалась лишь досадною необходимостью, в которой всякий искал подтверждения своих так сказать утробных поползновений. Ежели писатель говорит в унисон тому, что думает утроба читающего, — это значит, что он писатель подлый, но полезный; ежели писатель расходится в мнениях с утробой читающего, — это значит, что он писатель подлый и опасный. А так как в основании того и другого определения все-таки стоит слово «подлый», т. е. не могущий ни «Оду на взятие Хотина» на струнах разыграть, ни «Бедную Лизу» написать, то из этого выводится прямое заключение, что и полезный писатель, в силу своей подлости, может сделаться опасным. Стоит только хорошенько его поманить, доказать, с четами в руках, что опасным писателем выгоднее быть, нежели полезным.

Вот почему часто приходится слышать, как мерзавцы самые несомненные называют литературу скопищем разбойников и мерзавцев. И, к сожалению, не менее часто случается, что сами литераторы не только не протестуют против этого, но даже помогают формулировать полуграмотные бормотания ненавистников литературы.

Этого нет нигде. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде литература есть воистину благороднейшая и драгоценнейшая выразительница народного гения. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас — не так. У нас она знает только один девиз: держи ухо востро! — И она действительно держит ухо востро и не жалуется и даже не мечется. Право, ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которая и в самое бесконечно-доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости.

Правда, указывают на публику: там, дескать, пускай ищет себе литератор оценку сочувствия и защиты! Но что же такое эта публика? Кому она нужна? более ли она самостоятельна, нежели сама литература? кто принимает ее в расчет и кого она может защитить?

Публика... га!!!

Вот почему я повторяю, что положение русского литератора нельзя назвать ни благоприятным, ни прочным.

И между тем, я... литератор!!!

* * *

Однажды, в провинции, я был свидетелем такого случая. Был у нашего principala близкий человек, который пользовался всем его доверием и,

следовательно, делал, что хотел. Определял и увольнял, заключал мир и объявлял войну, решал и вязал, казнил и килловал, рассылал и водворял. Словом сказать, производил все операции, какие столпу, от лица власти имеющего поставленному, производить надлежит. Понятно, какая у него была свита льстецов и поклонников, которые не только удивлялись его мудрости, но находили, что еще он мало в шею накладывает, и называли его в глаза и за глаза красавцем. В числе подобных поклонников был и мой хороший приятель, господин Чушкин, который очень усердно нюхался с баловнем фортуны и почти ежедневно сообщал мне о подвигах его подражаемой мудрости. Впрочем, называя господина Чушкина моим приятелем, я должен оговориться, что в провинции из приятелей нет свободного выбора: тот и приятель, с кем связано дело или случайная встреча.

И вдруг, в одно прекрасное утро над городом взвился целый столб пыли. То пал «баловень фортуны». Пал он неизвестно от какой причины. Все действовал вольным аллюром, все простирали руки и нахальствовал, ни мало не остерегаясь — и вдруг как-то не остерегся, наступил на мозоль... Сколько тут сказалось мусору и смраду — это ни в сказке сказать, ни пером описать. И вдруг вся эта свора льстецов и почитателей, которая за ним ходила по пятам, рассыпалась и брызнула во все стороны, озвываясь и высматривая, не появится ли на горизонте новый баловень фортуны, перед которым тоже предстоит подличать и льстить.

Я помню, что через несколько дней после этого мы шли с Чушкиным по улице, и вдруг совсем неожиданно из переулочка вынырнул бывший баловень фортуны. Обтрепанный, обшипанный, смотрящий долу, он близко прошел мимо нас, как бы уклоняясь от удара, и господин Чушкин не только не приветствовал его, но облил взглядом, полным неизреченного презрения.

Я помню, это в то время до такой степени меня поразило, что я не выдержал и тогда же выразил мое негодование.

— Господин Чушкин! — сказал я: — позвольте мне сказать вам, что вы поступили, как негодяй. Покуда этот человек был в случае, вы низкопоклонничали и малодушествовали перед ним: теперь же, когда он низринут с высоты, наполнив смрадом вселенную, вы не только не приветствуете его с счастливой улыбкой на устах, но даже как бы игнорируете самое существование его! Жду ваших разъяснений.

Но господин Чушкин смотрел на меня во все глаза и очевидно ничего не понимал.

— Но что же собственно я должен разъяснить? — спросил он наконец.

— Я желаю знать причину вашего двоедушия относительно лица, которое еще несколько дней тому назад пользовалось в здешнем обществе титулом баловня фортуны. Почему вы, за неделю перед сим не знали, какую достаточно преданную улыбку вызвать на лицо, чтоб выразить вашу радость при встрече с ним, теперь же не нашли ничего другого, кроме взгляда, исполненного равнодушия и даже презрения?

— Извольте! — ответил он. — Начну с того, что ежели я чествовал господина, о котором идет речь, то чествовал его не как человека, а как положенное по штату лицо («Баловень фортуны», по должности — в 6-м классе, по мундиту — в 6-м классе, по пенсии — в III разряде), от которого зависело прекращение моего существования или продолжение оного. Это — первое. Во-вторых, запас преданности и ее изъявлений, к которому обязывается иметь партикулярный человек, желающий, чтоб существование его было продолжено, имеет свои определенные границы, дальше которых изобретательность человеческого ума не идет. А так как должность «Баловня фортуны» не нынче-завтра будет замещена, то ясно, что и для вновь определенного лица я должен иметь в готовности ту же сумму

преданности, какую я вынуждался предъявлять и его предместнику. Отсюда, в-третьих, ежели я свойственную мне сумму преданности буду раздроблять между бывшим и действующим баловнем фортуны, да при сем, пожалуй, еще прихвачу будущего «баловня фортуны», пришествие которого тоже провижу, то ясно, что на долю каждого из них попадет такой ничтожный клочек этой преданности, что ни один из них не ощутит никакого удовольствия. И, наконец, в-четвертых, вы ошибаетесь, обвиняя меня в каком-то неслыханном и чрезмерном вероломстве. Сравнительно я поступил еще довольно мягко, и случись на моем месте другой...

Он не досказал, как поступил бы на его месте другой, но с меня и этого было достаточно. Тем не менее, рассуждение господина Чушкина не удовлетворило меня, и я долгое время не мог вспомнить об этом случае, не воскликнувши: какая, однакож, мерзость! О, если б баловни фортуны знали, что происходит в Чушкинских глубинах в то время, когда Чушкинские уста изрыгают лстивые словеса! С какою мудрою предусмотрительностью они начертали бы: существовать воспрещается!

Но, быть может, они все это отлично знают и понимают, но в то же время понимают и то, что не будь Чушкиных, с кем же бы стали они размыкивать свое величие, да и кто удостоверил бы их, что их величие есть, действительно, величие, а не кошмар?

И что всего удивительнее, сам отставной баловень фортуны не понимал, сколько ненормального и презренного заключается в отношениях к нему господ Чушкиных. Повидимому, он видел в этом нечто обыденное и вполне естественное. В эти первые минуты, когда не рассеялся еще смрад от его падения, он, конечно, страдал и ощущал довольно существенные неудобства, но в то же время он, наверное, внутри себя уже говорил: перемелется — мука будет! И точно, прошел месяц, другой — и бывший баловень фортуны вдруг, как ни в чем не бывало, явился в клуб и спросил себе порцию сосисок с капустой (прежде он не садился за стол без шампанского, которым обыкновенно наливали его господа Чушкины). Потом, потихоньку, да полегоньку устроил себе партию по маленькой и, не упоминая о бывшем величии, сумел настолько снискать в общественном мнении, что даже вновь определенный «баловень фортуны» начал прибегать к нему за советами.

Но повторяю: меня это поразило до крайности; и хотя впоследствии я очень часто имел случай видеть примеры подобных внезапных низвержений, сопровождаемых точь-в-точь такими же вероломствами, но никогда не мог привыкнуть к этим явлениям, всякий раз преисполняясь по поводу их негодованием. Так что, долго спустя, когда уже я окончательно покинул провинцию, я и тогда не раз вспоминал об этом и совершенно искренно желал себе разрешить, естественно ли это или неестественно.

Однажды я имел об этом очень серьезный разговор с Глумовым, к которому, как известно, я имел обыкновение обращаться во всех моих недоумениях. И к удивлению моему, вовсе не встретил в нем такого пламенного негодования, какое испытывал сам.

— Как бы тебе сказать, — ответил он, когда я объяснил ему в подробности поступок господина Чушкина: — конечно, с точки зрения людей свободных, вот как мы, например, с тобой, поступок господина Чушкина представляется не только предосудительным, но и достойным шпицрутенов; но ежели взглянуть на дело с точки зрения людей подневольных...

— Помилуй, мой друг! — возмущился я: — о каких тут разнообразных точках зрения может идти речь! Тут может быть только одна точка зрения, которая говорит: подло! — и больше ничего.

— Постой! Повторяю: и ты, и я — мы, благодарение богу, — люди свободные, и потому очень понятно, что для нас же в целях подобного

рода может существовать только одна точка зрения, безотносительная. Но окупись мыслью в хляби крепостного права, представь себя на минуту рабом, и ты, наверное, отыщешь и другую, относительную, точку зрения, которая заставляет действовать так господ Чушкиных. Чушкины — рабы, и этим все сказано. Но они не те наглухо заколоченные рабы, которые не



ПЕРЕХВАТ-ЗАЛИХВАТСКИЙ, АРХИСТРАТИГ СТРАТИЛАТОВИЧ, МАЙОР
«О сем умолчу. Выехал в Глухов на белом коне, сжег гимназию и
упразднил науки»

Рисунок Байна, из альбома «Портретная галлерей градоначальников
в разное время в г. Глухов от высшего начальства поставленных.
(1731—1836 по Щедрину, и 1826—1907 не по Щедрину)». П., 1907 г.

чувствуют цепей на своих руках, для которых жизнь, что бы в ней ни происходило, есть лишенная света темница, но рабы, отчасти уже вкусившие жизненных благ и растревоженные ими. Эти люди не могут не вожделеть однажды испытанных благ, и так как последние даются лишь тем, кто умеет ласково просить, то они и пресмыкаются в прахе. Но в то же время они очень хорошо понимают, какая масса унижений заключается в этом пресмыкании, и не могут не желать отмщения. И вот наступает

момент, когда он припоминает все. И то, как он ползал, и то, перед кем он ползал: ведь этот «баловень фортуны» — кто он такой? Ведь это человек, с которым ему, Чушкину, говорить по-настоящему никакой надобности нет, на которого смотреть ему тошно. А он ползал перед ним, восхищался его мудростью, называя красавчиком. Он кувыркнулся перед ним, представлял комедии, паясничал, в чайники сорвать с уст благосклонную улыбку! Он проделывал все это потому, что сознавал себя червем, потому что понимал, что одного движения «баловня фортуны» достаточно, чтоб раздавить его! И ты думаешь, что он не отомстит! Ах, ведь это целая трагедия, и к довершению всего трагедия, которая длится иногда бесконечные годы! Каждую минуту, в течение этих бесконечных лет, Чушкин глотает обиду за обидой, выжидает, терпит, сдерживается... И чтоб он не припомнил этого в благоприятный момент, чтоб он не отомстил? Нет, воля твоя, я совершенно согласен с господином Чушкиным — очевидно, он был прав — он поступил еще слишком мягко! Другой на его месте...

— Послушай! Положим, что он отомстит, но как? Ведь он не самостоятельно отмщает, а за спиной другого! Ведь потому только он и получит возможность отомстить старому «баловню фортуны», что у него есть налицо новый «баловень фортуны», перед которым он вновь пресмыкается и ползает... Ведь это, наконец, бесконечный порочный круг!

— И именно так и есть, но это не изменяет факта, а делает его еще более трагичным. Расскажу тебе историю из воспоминаний моей юности. Была у нас соседка барыня, и имела она влечение к фаворитам. Фавориты эти выбиравались из дворовых и менялись довольно часто. Бывало, приедешь в Ярцево (ее усадьба) и глядишь в лакейской саженный холуй сидит — это значит, новый фаворит. Так вот при смене этих фаворитов происходили поразительные сцены, а однажды дело даже до суда дошло. Был у этой барыни в дворне живописец один, малый талантливый, и ходил он обыкновенно по оброку, только как-то позапутался, не заплатил во-время денег, и вызван был в деревню. Разумеется застал холуя и вынужден был, наряду с прочими, ему льстить. Льстил долго и усиленно, льстил с сознанием собственного превосходства и достиг, наконец, того, что получил право существовать и даже пользоваться некоторыми льготами. И вдруг из барыниной спальни распоряжение: фаворита — в пастухи, а пастуха — в фавориты! Надо было видеть, какая вдруг метаморфоза совершилась в живописце! Он подстерег тиганта из-за угла, ловко сшиб его с ног и начал топтать ногами. И постепенно остервенясь, стал бить его каблуком в лицо, так что через четверть часа гигант представлял собой бездыханную окровавленную массу. Так вот этот самый убийца на вопрос: с какого повода он так остервенился против человека, которому накануне льстил и который в сущности ничего кроме благосклонности ему не показывал, — отвечал: Помилуйте! мало ли он измывался надо мной! мало ли я сам над собой измывался, чтоб только утешить его, угодить! Ужели ж так ему это и подарить!

— Так вот оно рабье-то дело какое! — присовокупил Глумов: — и представь себе, во время этой сцены барыня стояла у окна и смотрела, и только когда уж все кончилось, молвила: никак он Макарку-то убил! Свяжите его, да отвезите в город...

3. [ОТРЫВОК: «ПОШЕХОНЬЕ ОТКЛИКНУЛОСЬ...»]

[Пошехонье откликнулось. На днях я получил от одного из местных аборигенов следующее письмо.

«В качестве обывателя одного из многочисленных русских Пошехоньев, считаю бесполезным отзываться на ваши рассказы, в которых, по правде сказать...]

В числе философских учений есть одно, которое в пошехонской среде пользуется особенной популярностью. Это учение гласит, что в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится. И тогда будет всем хорошо.

Каким образом и в какой срок совершится эта метаморфоза — на этот вопрос пошехонцы ничего определительно не отвечают. Они говорят только, что ежели от начала веков идет процесс водворения в мире добра, то нет резона не продолжать ему свои действия и на предбудущее время. Вспомните и сравните.

По всему однакож видно, что метаморфоза посрамления зла совершится как будто сама собой. Пошехонцы будут сидеть у моря и ждать погоды, а в это время где-то «там» будет вертеться какое-то колесо. Вертится, вертится, и вдруг — трах! — приехали.

Самая это покойная философия. Ни почина, ни солидарности, ни ответственности — ни о чем подобном и в помине нет. Даже горестей, волнений и негодований не полагается — потому что все равно добро и правда свое возьмут. Пускай «враг горами качает» — надорвется; пускай неправда ковы кует — для себя же она готовит их. Не бывать тому, чтобы зло не посрамилось, не уступило, не исчезло! Не бывать!

Но что важнее всего, философия эта нисколько не мешает обыденному течению жизни. Все другие философии мешают, — тревожат, а эта нет. Благодаря ей, можно на самые конкретные явления смотреть как на проходящие, как на «дурной сон». Покуда пошехонцы исправляются по домашности — все пройдет: и неурядицы и недомогания и даже прямые злодеяния. Каждый может спокойно сидеть под своей смоковницей, улаживаться как ловчее и вести свою жизненную линию, в твердой уверенности, что добро свое дело сделает неупустительно.

Я охотно соглашаюсь, что уверенность в неизбежном торжестве доброго начала над злым сама по себе весьма симпатична, но не следует забывать, что она отнюдь не составляет исключительной принадлежности пошехонского мирозерцания. Вообще всем людям свойственно стремление к добру. Все люди сознают, что только прочное водворение добра может обеспечить пользование благами жизни, но не все одинаково относятся к самому процессу водворения. Одни полагают в этот процесс все свои физические и духовные силы, так сказать воспитываются в добре для добра; другие ограничиваются платоническими пожеланиями. Одни под личную ответственность созидают посильную сумму блага и раз сделавши известное приобретение стремятся претворить его в непрерываемый факт; другие урывками и исподтишка крадут у жизни случайно выбрасываемые на дорогу крохи и ничего из этих легких приобретений извлечь не могут, кроме праздных и бессодержательных ликований.

К сожалению, пошехонцы принадлежат к числу последних.

Едва запахнет в воздухе «благими начинаниями» — сейчас они тут как тут. Суетятся, поздравляют друг друга, земли под собой не слышат, кричат: Бог послал! Бог послал! И в то же время не налюбуются друг другом, только что во всеуслышание не говорят: посмотрите, как мы благородны! как мы сочувствуем! Но вот потянуло откуда-то гарью — и картина мгновенно меняется. Пошехонец мгновенно смолкает, озирается и жмется к сторонке. Не вступает на путь действительной измены, но ренегатствует страдательно; не идет прямо на совет нечестивых, но ежемгновенно жаждет провалиться сквозь землю. И в то же время опять-таки только что не говорит: вот какой я благородный! Знаю, что в худом деле участвовать стыдно!

А стоять в недоумении и хлопать глазами — не стыдно!!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Несмотря на отсутствие в рукописи «Приличествующего объяснения» каких-либо авторских помет, она может быть с уверенностью отнесена к 1879 г., и даже точнее — к концу 1879 г. Основания для такой датировки следующие. В статье упоминается ряд громких уголовных процессов 70-х годов: Червонных вальсов, Юханцева, Гулак-Артемовский и Ландсберга. Относительно героев этих процессов, иронически именуемых «истинными героями современности», сказано между прочим, что «рука прокурора достала их» — указание, свидетельствующее, что статья не могла быть написана ранее окончания следствия и суда по названным делам. Но самое позднее из них, а именно «дело прапорщика лейб-гвардии саперного батальона Карла Ландсберга», зарезавшего 25 мая 1879 г. в Петербурге ростовщика и его служанку, слушалось 5 июля того же года в С.-Петербургском окружном суде. Таким образом очевидно, что 5 июля 1879 г. и должно считаться той датой, после которой только и могла быть написана статья. Таково одно указание. С другой стороны, изучение рукописей «Круглого года» (архив ИРЛИ, шифр 366/23) обнаруживает на листе, на котором находится черновая редакция главы «Первое апреля — первое мая», несколько зачеркнутых строк на самом верху листа. Эти строки представляют собой не что иное, как начало «Приличествующего объяснения» почти без изменений, кончая словами «поспешными, тревожными, непоследовательными». Отсюда — убедительность предположения, что «Приличествующее объяснение» было написано в близком хронологическом соседстве с указанными главами «Круглого года», появившимися в августовской книжке «Отечественных Записок» за 1879 г. Можно думать, что в первоначальное намерение Щедрина входило включение в серию «ежемесячных бесед» «Круглого года» также специальной беседы о газете. Это тем более вероятно, что ни в одном из циклов Щедрина не уделено так много места различным вопросам литературы и печати, как именно в этом. Но набросав первые строки «беседы», Щедрин по каким-то причинам отказался от ее дальнейшего развития в рамках «Круглого года» и задумал осуществить ее в виде самостоятельной статьи. О последнем свидетельствует наличие «своего» заглавия (12 глав «Круглого года» носят, как известно, названия двенадцати месяцев), а также то обстоятельство, что текст отрывка не заключает в себе никаких указаний на принадлежность его к циклу, специфическим признаком которого является развитие повествования в форме иронических контрверса между «автором» и «героем» — Феденькой Неугадовым.

Однако намерение написать самостоятельную статью осталось повидимому неосуществленным. Слишком небольшой для обычных масштабов щедринских фельетонов объем статьи заставляет предполагать, что она либо осталась незаконченной, либо продолжение ее не дошло до нас.

² Указание Щедрина «за последние пятнадцать лет... значение больших (ежемесячных) журналов упало, а вместо них в роли руководителей общественного мнения выступили ежедневные газеты» точно согласуется с предложенной датировкой. Можно даже думать, что Щедрин имеет здесь в виду вполне определенную дату, а именно известный закон от 6 апреля 1865 г. «о даровании отечественной печати возможных облегчений и удобств», что важно как лишний аргумент нашей датировки текста. Законом этим завершилась эпоха цензурных реформ. Русские периодические издания были освобождены от предварительной цензуры с тем однако, «что в случае замеченного в них вредного направления» они подвергались отныне судебному преследованию.

³ Цитович, П. П. (ум. в 1913 г.) — профессор Новороссийского университета, прославившийся в 1878 и особенно в 1879 г. своими ультра-реакционными доносами на пасквилями на деятелей революционной демократии. Эти пасквили, не без таланта написанные, издавались автором отдельными брошюрами, в громадных тиражах (напр. «Что делают в романе «Что делать?», «Разрушение эстетики», «Реальная критика» и др.). С Цитовичем вначале полемизировал Михайловский в «Письмах к ученым людям» («Отеч. Зап.» 1878, кн. 6—7). В качестве образца хлестких, но вполне бесцельных выражений достаточно привести следующий окрик, брошенный Цитовичем в ответ Михайловскому по адресу его и «Отечественных Записок»: «...а вот, посмотрим, как вы закурекуете, когда закроют вашу грязную лавченку, торгующую красным тряпьем, оставшимся с 1861 года». В 1870 г. Цитович предпринял издание газеты «Берег» в Петербурге, вскоре впрочем прекратившей свое существование. В «Письмах к тетеньке» (письмо XI) Щедрин отметил «Берег» под наименованием «Помой» — издание ежедневное, а самого Цитовича вывел под именем «главного воротила в газете», «публициста Искарнотова».

⁴ Богдановский — профессор юридического факультета Одесского университета; он выступил в 1879 г. в местной печати со статьей, в полной мере солидаризировавшейся с пасквилями Цитовича.

⁵ Цион, И. Ф. (1835—1912) — профессор физиологии Медико-хирургической академии, вынужденный уйти в отставку после враждебной ему студенческой демонстрации 17/X 1874 г.; политический публицист, сотрудник «Московских Ведомостей», парижский корреспондент М. Каткова, в дальнейшем заграничный агент министерства финан-

сов, уволенный от службы за неблагоприятные действия при реализации одного из займов. По словам Феоктистова, Цюон «отличался мерзейшими качествами», писал доносительные статьи в «Московских Ведомостях», не гнушаясь и прямыми доносами.

⁶ О каких «скорбных исторических минутах» говорит здесь Щедрин — с абсолютной уверенностью ответить за отсутствием конкретных указаний трудно. Можно однако предположить, что речь идет о событиях 2 апреля и 19 ноября 1879 г., т. е. о покушениях на Александра II. На эти покушения правительство ответило волной репрессий не только против террористов-революционеров, но и против самого общества. Торжествующая реакция справляла свою победу на крови. «Человеконенавистники», т. е. руководители погромно-черносотенной политики, рады были использовать такие моменты для того, чтобы «в одну минуту стереть всякий след успеха, добытого ценою долгих усилий». Нет конечно ничего удивительного в том, что Щедрин называет покушение на царя «печальным фактом». Щедрин безусловно отрицательно относился ко всякому террору не только правительственному, но и народофильскому. В письме к Н. Белоголовому от 20 марта 1882 г. он например писал: «Скажу вам откровенно: все эти убийства, покушения и проч. делаются необыкновенно тяжело, назойливо и пошлы. Из-за них ничего не видать, не только никакого дела делать нельзя, но и разобраться в этой галиматии трудно». (Речь идет об одном из последних актов «Народной воли» — убийстве киевского военного прокурора Стрельникова, совершенного Желваковым и Степаном Халтуринным 18 марта 1882 г. в Одессе). Еще пример: в шестой главе «За рубежом» имеются строки, в которых ясно выражено отрицательное отношение Салтыкова к акту 1 марта 1881 г., при чем взгляд и аргументация отрицательного отношения очень близки к только что прокомментированному месту из «Приличествующего объяснения».

⁷ Дело о червонных валетах — исключительный в летописях русского уголовного суда процесс по числу обвиняемых (46), свидетелей (свыше 300), защитников и т. д. Дело слушалось в Московском окружном суде с 8 февраля по 6 марта 1877 г. Начало же следствия оно было в 1871 г. В процессе следствия по первоначально небольшому делу стала обнаруживаться, одно за другим, целая сеть преступлений, направленных преимущественно против чужой собственности. В результате была вскрыта огромная организация, совершившая в общей сложности 56 крупных преступлений с убийствами, кражами, подлогами и т. п. Особую сенсацию процессу придавало то обстоятельство, что большинство обвиняемых принадлежало к «высшему» сословию, дворянам. Этот процесс наряду с другими аналогичными дал Щедрину толчок к широко задуманному циклу на тему о «червонных валетах» под заглавием «Дети Москвы», который однако оборвался на первом же очерке цикла, помещенном в январском номере «Отечественных Записок» за 1877 г.

⁸ Дело Гулак-Артемовской шумело в конце 1878 г. Оно разбиралось в Петербургском окружном суде 20—22 октября 1878 г. Светская львица Гулак-Артемовская обвинялась в подлоге векселей на громадные суммы, что и было доказано. Главный интерес процесса заключался однако не в этом, а в том, что, как выяснилось на суде, она зарабатывала большие деньги тем, что «проводила дела» в министерствах, по знакомству получала в собственность и продавала золотые прииски и т. д.

⁹ Дело кассира Петербургского «Общества Взаимного Кредита» Юханцева, растратившего с 1873 по 1878 г. свыше 2-х миллионов рублей банковских денег, слушалось в С.-Петербургском окружном суде с 22 по 24 января 1879 г.; суд приговорил Юханцева к ссылке на поселение в Енисейскую губернию.

¹⁰ О деле прапорщика лейб-гвардии саперного батальона Карле Ландсберге уже было упомянуто. Ландсберг зарезал 25 мая 1879 г. ростовщика Власова и его служанку, мотивируя преступление невозможностью вернуть свой долг.